

«Философия жизни» Гамлета: испытание абсолютных ценностей

С.Н. Кочеров

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Известно, что Гамлет – самый философствующий герой У. Шекспира. Еще Г.В.Ф. Гегель отмечал «глубокомыслие» Гамлета [1, с. 236], а В.С. Соловьев называл его «мыслителем» [2, с. 600]. Мудрость героя Шекспира – порой на грани или даже за гранью безумия – признавали многие философы: от Вольтера и Г.Э. Лессинга до В. Бенямина и Ж. Лакана. Хотя их отношение к его мудрости отличается, в зависимости от того, считают ли они сумасшествие Гамлета притворным или реальным, философский склад ума принца Датского не вызывает у них сомнений. Даже Вольтер, называвший пьесу Шекспира «нелепой и варварской» и утверждавший, что Гамлет сходит с ума во 2-м акте, отмечал величественные мысли и «силу разума» Шекспира и его героя. Характерно, что в самой трагедии об остроте ума Гамлета говорит поверивший первым и уверявший других в его безумии Полоний, удивляясь, *«как содържательны иной раз его ответы!»* (II, 2. Здесь и далее трагедия цитируется по переводу М.Л. Лозинского – С.К.).

Но как бы ни было заманчиво, с точки зрения иных исследователей, видеть в мудрствовании Гамлета иррациональные экзистенциальные поиски смысла человеком, борющимся со своим безумием, сам принц опровергает подобное представление о себе. Причем, не только в разговорах с Горацио и Гертрудой, но и своими суждениями. *«Каждое слово Гамлета, – пишет А.А. Аникст, – ...бьет в точку. Он срывает маски, обнажает истинное положение вещей, испытует, осмеивает, осуждает. Каждую ситуацию трагедии именно Гамлет оценивает вернее всего. И яснее всего»* (3, с. 600). Если для Аникста герой Шекспира – человек большого ума, для А.Ф. Лосева он «ученый и философ» (4, с. 621). Понятно, что речь идет не о роде занятий принца, но о складе его ума, однако можно ли считать мудрость Гамлета философской?

Этому признанию как будто препятствует его насмешливое отношение к философии. Вспомним известную фразу *«И в небе и в земле сокрыто больше, // Чем снится вашей мудрости, Горацио»* (I,5), причем, в оригинале Гамлет говорит о философии (*«...Than are dreamt of in your philosophy»*). Но, если сравнить ее с дефиницией Ф. Бэкона, заявлявшего, что *«закономерности неба и земли, собственно, и составляют предмет философии»* [5, с. 282], оказывается, что принц весьма точно указал, чем занимались философы в это время. Притяжение принца Датского к философии выражается не только в характере обуревающих его вопросов, но и в способах его подхода к их постановке и решению. Любое жизненное явление дает ему повод для широких обобщений. Так, он говорит о перемене в отношении к человеку, когда тот неожиданно получает власть над людьми: *«...Вот мой дядя – король*

Датский, и те, кто строил ему рожки, пока жив был мой отец, платят по двадцать, сорок, пятьдесят и по сто дукатов за его портрет в миниатюре. Черт возьми, в этом есть нечто сверхъестественное, если бы только философия могла доискаться» (II, 2).

Особенностью Гамлета как философской природы также является его несклонность к поспешным выводам, стремление проверить показания своих чувств и доводы разума: *«Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу // Того, что кажется» (I, 2)*. Он желает установить правдивость слов Призрака, хотя тот явился ему в обличье отца и подтвердил его подозрения. Гамлет нуждается в доказательстве, которое может устранить все сомнения:

*«Дух, представший мне,
Быть может, был и дьявол; дьявол властен
Облечься в милый образ;
...Мне нужна
Верней опора» (II, 2).*

Конечно, Гамлет не задает отвлеченных вопросов, не рассуждает об истинно существе, принципах бытия и мышления, познаваемости мира и т.п. Хотя он часто говорит о мире, природе, времени («The time is out of joint» – «Время вышло из суставов»), в центре его размышлений всегда человек, что соответствовало антропоцентризму ренессансной философии в целом. И бытие человека принц понимает не в его абстрактных характеристиках, а как противоречивую в своих проявлениях и трудноуловимую для адекватного определения текучесть, которую философы позднее назовут «жизнью».

Эту жизненную конкретность мышления принца подметил А.А. Аникст, сравнив Гамлета Шекспира и Фауста Гёте. «...Мысли Фауста, – пишет он, – безотносительны к действию трагедии Гёте, которое в общем является условным, тогда как трагедия Шекспира изображает нам во всей живости различные драматические ситуации, подлинность которых не вызывает у нас сомнений. ...Гамлет в своей реакции на жизненно важные для него обстоятельства обнаруживает перед нами, в чем состоит сущность положения или что представляет собой данный характер» [3, с. 600]. Активное включение Гамлета в стихию Эльсинора, полную «бесчеловечных и кровавых дел, // Случайных кар, негаданных убийств, // Смертей, в нужде подстроенных лукавством, // И, наконец, коварных козней, павших // На головы зачинщиков» (V, 2), придает его философии жизненный характер.

Прежде чем перейти к «философии жизни» принца Датского следует разъяснить один важный вопрос. Шекспира нельзя назвать исключительным автором трагедии о Гамлете – ни при разработке ее сюжета, ни при создании образа главного героя. Не следует забывать о древнем Амлете, о котором драматург узнал из пьесы Т. Кида, тот – из «Трагических историй» Ф. Бельфоре, тот – из «Деяний данов» Саксона Грамматика, а тот – из скандинавских саг. Из этой легенды Шекспир заимствовал не только фабулу, но и приемы героя: показное безумие, переубеждение сыном матери, отказ от

тайного убийства врага ради его публичного наказания и т.д.

Поэтому, на мой взгляд, есть противоречие в словах П.А. Флоренского: «Шекспир сохранил в сравнительно нетронутом виде внешнюю обстановку, в которой должен был быть Амурет, и требования, которые к нему предъявляло родовое сознание язычества, но самого Амурета облагородил, модернизировал и превратил в Гамлета» [6, с. 277]. Поневоле возникает вопрос, можно ли полностью изменить личность, сохранив ее окружение и обстановку? В этом отношении автор данной статьи склонен скорее согласиться с И. Анненским, согласно которому «хитрый Гамлет легенды Бельфоре и витязь Саксона Грамматика не могли не стать наслоениями в сложном составе трагического героя» [7, с.165]. И здесь нельзя обойтись без сравнительного анализа характеров Амурета и Гамлета

В отечественном шекспироведении Амурету, на мой взгляд, уделяют недостаточно внимания, находя его слишком примитивным. Так, П.А. Флоренский пишет: «Чтобы отомстить за отца и спасти свою жизнь, сын покойного Амурет притворяется безумным и в это время проявляет всю варварскую цельность своей натуры» [6, с. 276]. По мнению А.А. Аникста, «что касается характера древнего Амурета и Гамлета Шекспира, то общего у них лишь то, что оба они люди большого ума» [3, с. 574]. Но при чтении первоисточника нельзя не заметить, что два героя имеют больше сходства, чем полагают иные исследователи. Амурета отличают не только большой ум и мужество, он красноречив, глубокомыслен, саркастичен, а его прозорливости на пиру у английского короля, мог бы позавидовать не только Гамлет, но и Шерлок Холмс. Последние слова о нем Саксона Грамматика: «Если бы фортуна была добра к нему так, как природа, он бы сравнялся с богами в славе и превзошел подвиги Геркулеса своими доблестными деяниями» [8], – могли бы стать эпитафией и для Гамлета.

Возвращаясь к «философии жизни» Гамлета, следует заметить, что ее понимание может пролить новый свет на проблему, о которую ломают копья вот уже многие поколения шекспироведов. Это вопрос о том, почему Гамлет медлит с исполнением своей задачи настолько, что когда он карает Клавдия, это выглядит так, будто сбился не хорошо задуманный, а случайно удавшийся замысел. В качестве причин нерешительности героя чаще всего называли недостаток воли (А. В. Шлегель, С. Т. Кольридж), непосильность задачи (И.В. Гете, Г.В.Ф. Гегель), неприятие кровной мести (Г. Ульрици) и трудности с осуществлением справедливого суда (К. Вердер), меланхолия (Э.С. Бредли, Э.Э. Столл), «Эдипов комплекс» (З. Фрейд) потребность в христианском искуплении (В. Беньямин). Но если у Гамлета была своя «философия», возможно, именно в ней следует искать объяснение той внутренней борьбы, которая, в сочетании с борьбой внешней, не позволила ему осуществить возмездие так же успешно, как это сделал Амурет.

Г.В.Ф. Гегель, определяя характер Гамлета, заметил, что «он, однако, сомневается не в том, *что* ему нужно делать, а в том, *как* это ему выполнить» (1, с. 248). На мой взгляд, внутренний конфликт Гамлета усугубляется еще и сомнением в том, *зачем* ему нужно выполнять возложенную на него задачу.

Моя гипотеза состоит в том, что в поведении Гамлета проявился не столько кризис действия или воли героя, сколько кризис его мотива. При этом автор статьи сознает, что его предположение может показаться вступающим в острое противоречие с текстом трагедии, в которой месть сына за отца выступает главной движущей силой. Но именно в отношении к мести состоит главное отличие Гамлета от Амлета.

Во времена Амлета кровная месть была родовым долгом, который должен был «осуществляться независимо от чувства человека, его симпатий или антипатий, любви или ненависти, чувства обиды, гнева или даже чувства справедливости» (9, с. 90). Объявленное убийство из мести передавалось тогда словом *víg*, которое также означало «бой», «битва», а отношение к нему характеризовала поговорка «Только раб мстит сразу, а трус – никогда» (9, с. 87, 91). Ренессанс как время жизни Гамлета, конечно, также известен «своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей» (4, с. 121). Но месть в этом обществе с его ярко выраженным индивидуальным сознанием утрачивает характер родового долга, становясь делом индивидуальным. Например, тот, о ком некоторые шекспироведы XIX в. говорили, будто «Гамлет» – это трагедия графа Эссекса, не стал мстить своему отчиму, который, по слухам, отравил его родного отца.

По возвращении в Эльсинор прежний мир Гамлета разбился вдребезги, и герой должен собрать его заново по кусочкам. Ф. Ницше так описал его исходное состояние: «...Как только та повседневная действительность вновь выступает в сознании, она ощущается как таковая с отвращением; аскетическое, отрицающее волю настроение является плодом подобных состояний» [9, с. 82]. Но можно ли согласиться с предложенной Ницше «доктриной» Гамлета: познание убивает действие? Чтобы осуществить опасное и трудное дело, одного познания недостаточно, необходимо еще страстное желание его совершить. Личная месть потребовала от Гамлета обдуманного хладнокровного убийства, справедливого, по его понятиям, но изначально претящего его натуре. Поэтому он должен был выработать такое отношение к жизни, которое бы возвысило его задачу и облагородило месть.

Знаменитые монологи Гамлета отразили основные стадии выработки его «философии жизни». Такая философия, по словам Г. Риккерта, «должна дать единое истолкование смысла нашей жизни, т.е. многообразие жизни должно быть в ней отнесено к единому все связующему центру, принцип же этого единства не может не быть налицо уже и в той системе ценностей, которую мы кладем в основу нашего истолкования» [11, с. 367]. Гамлет не создавал новых ценностей, но обратился к тем из них, что были обусловлены его происхождением, воспитанием и положением. Если «время вышло из суставов», нужно было проверить основные ценности, чтобы в их свете уяснить новый смысл жизни. Какие же ценности были испытаны Гамлетом?

Вера в Бога

После потрясения, пережитого Гамлетом, он, увидев неприглядную изнанку мира, до того казавшегося ему прекрасным, не раз обращается в мыслях к его небесному творцу. О нем говорится в первом же его монологе:

*«О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!
Иль если бы предвечный не оставил
Запрет самоубийству! Боже! Боже!» (I, 2).*

Гамлет скорбит о несходстве между божественным образцом и земным творением, ссылается на евангельские сюжеты, поминает Страшный суд, разделяет суеверия своего времени. Он религиозный человек – в том смысле, в каком верующими были самые образованные люди Ренессанса, включая Шекспира. И так же, как они, проявляет свободомыслие в религиозных вопросах, выражаемое, например, в известном сомнении в христианских взглядах на загробное воздаяние:

*«...Умереть, уснуть. – Уснуть!
И только...» (III, 1).*

Насколько глубока религиозность Гамлета? Можно ли согласиться с В.К. Кантором в том, что «Гамлет – искренний и сознательный христианин», и что «это определяет всю систему его поведения» [12, с. 33]?

Главная проблема, возникающая при попытке понимания Гамлета как христианского героя, на мой взгляд, состоит в противоречии между задачей принца и христианской моралью. «Отнимите эту естественную в язычнике и совершенно противоестественную в христианине идею обязательной мести, – вопрошал В.С. Соловьев, – и в чем же будет основание для драмы?» [2, с. 599]. В.К. Кантор полагает, что Гамлет не мстит, а карает Клавдия, что, по его мнению, совместимо с долгом «христианского воина». Но сам принц ясно определяет свою задачу как месть (revenge), не рассуждая о том, как это соотносится с требованием не воздавать злом за зло и прощать своих врагов. Христианский мотив как будто звучит громче других, когда принц отказывается от убийства Клавдия во время молитвы. Однако из его слов следует, что Гамлет поступил так не из христианского милосердия, а по размышлении «буду ль я отмщен // Сразив его в душевном очищенье» (III, 3).

Для понимания образа Гамлета очень важны его предсмертные слова. Характерно, что В.К. Кантор [12, с. 46], как и Л.В. Карасев [13, с. 133] акцентирует внимание не на них, а на сопутствующих словах Горацио:

*«Почил высокий дух. – Спи, милый принц.
Спи, убаюкан пеньем херувимов!» (V, 2).*

Но Горацио говорит о смерти принца лишь то, что положено верному другу. Между тем Шекспир, как правило, доверяет именно главным героям

сказать последние слова, которые выражают их характер и устремления. Приведу несколько примеров: *«Коня, коня! Престол мой за коня!»* (Ричард III); *«О Цезарь, не скорбя, // Убью себя охотней, чем тебя!»* (Брут); *«Я отнял жизнь твою и сам умру, // Пав с поцелуем к твоему одру»* (Отелло); *«...Пробиться напролом в бою с тобой, // И проклят будь, кто первым крикнет "Стой!"»* (Макбет). Если в кварто 1603 г., которое одни исследователи считают «пиратской версией», другие – первой авторской редакцией пьесы, умирающий Гамлет говорил: *«Господи, прими мою душу!»* [3, с. 618], то в классическом тексте трагедии принц перед смертью произносит: *«Дальше – тишина»* (V, 2). Как бы ни понимать эти слова, в них трудно услышать покаяние в грехах или надежду на милость небес. Можно сказать, что вера в Бога скорее укрепляла Гамлета, чем направляла его.

Любовь

Гамлет – это не только глубоко мыслящий, но и тонко чувствующий человек, который любил сам и был любимым. Но что значит любить для Гамлета? Любовь принца, при всей его страстности, не похожа на пылкую влюбленность, когда за счастье почитается быть рядом с любимым. Гамлету нужна еще уверенность в том, что объект его любви является лучшим на свете – совершенным, если он мужчина, и возвышенной, если она женщина. Так, он говорит – об отце: *«Он человек был, человек во всем; // Ему подобных мне уже не встретить»* (I, 2); о девушке: *«Небесной, идолу моей души, преукрашенной Офелии»* (II, 2); о друге: *«Горацио, ты лучший из людей, // С которыми случалось мне сходиться»* (III, 2). Противоречие поведения любимого человека мечтам Гамлета, проявление им недостатков и слабостей вызывают у принца разочарование как в нем самом, так и в людях вообще. Можно отчасти согласиться с И. Анненским, видевшим отношение Гамлета к людям в том, что «они должны соответствовать его идеалу, его замыслам и ожиданиям, а иначе черт с ними, пусть их не будет вовсе» [7, с. 165]. К этому, однако, следует добавить, что еще строже принц судит самого себя.

Более других он любил своего отца, которого почитал как земное совершенство и не жалел для него похвал. Интересно предположение А.А. Аникста, что именно отец послужил Гамлету образцом, когда он восклицает: *«Что за мастерское создание – человек! Как благороден разумом! Как беспределен в своих способностях, обличьях и движениях! Как точен и чудесен в действии! Как он похож на ангела глубоким постижением! Как он похож на некоего бога! Краса вселенной! Венец всего живущего!»* (II, 2). При этом отношение Гамлета к отцу напоминает не столько сыновнее чувство к родителю, сколько почитание героического предка, которого с детства все ставили ему в пример. Ведь если принц Гамлет – ренессансная личность, то король Гамлет – человек средневековья, причем, ранней поры, когда короли еще вступали в поединки друг с другом. И хотя герой чтит память родителя, вряд ли Шекспир случайно допустил, что в развязке трагедии Гамлет даже не упоминает отца, верша суд над Клавдием.

Противоречия в любви Гамлета наиболее проявляются в его отношении к матери. Сын не прощает ей как измены памяти отца, так и его замены. При их объяснении Гамлет клеймит Гертруду за *«такое дело, // Которое пятнает лик стыда, // Зовет невинность лгуньей, на челе // Святой любви сменяет розу язвой...»* (III,4). До этого, говоря с Горацио, он с восторгом вспоминал, как его отец *«мать мою так нежил, // Что ветрам неба не дал бы коснуться // Ее лица»* (I,2), выдавая свое понимание идеала любви мужчины к женщине. Но Гертруда – не героиня из рыцарских романов, а земная и слабая женщина, – дала поздней страсти увлечь себя, и, легко пережив смерть мужа, снова вышла замуж. Принц обвиняет мать в потакании низменной стороне своей натуры и призывает ее: *«Отбросьте же дурную половину // И с лучшей живите в чистоте»* (III,4). Здесь любовь борется с ненавистью, и хотя Гертруда жертвует собой ради сына, а Гамлет мстит за мать, трудно сказать, какое из двух чувств руководило им в этот момент.

Любовь Гамлета к Офелии может показаться простой влюбленностью, не более чем порывом страсти, как уверяют ее отец и брат. Однако совсем о другом говорит Офелия, вспоминая *«слова, // Дышавшие так сладко, что вдвойне // Был ценен дар»* (III,1), и сам Гамлет, заявив над ее могилой: *«Ее любил я; сорок тысяч братьев // Всем множеством своей любви со мною // Не уравнились бы»* (V, 1). В чем же причина того, что принц разорвал их отношения и подвергнул девушку оскорбительным насмешкам? Возможно, он решил расстаться с нею после ее посещения, когда, по словам Офелии,

*«Он взял меня за кисть и крепко сжал;
Потом, отпрянув на длину руки,
Другую руку так подняв к бровям,
Стал пристально смотреть в лицо мне...
Он издал вздох столь скорбный и глубокий,
Как если бы вся грудь его разбилась
И гасла жизнь; он отпустил меня...»* (II,1).

Должно быть, Гамлет увидел в Офелии слабости, которые привели его мать к измене отцу, что ранее побудило принца вынести приговор слабому полу в целом: *«Бренность, ты // Зовешься: женщина!»* (I, 2). Он понял, что любимая ему не поможет, но способна стать соблазном, ловушкой на его пути. И.В. Гете дал такую оценку Офелии: *«Все существо ее преисполнено зрелой и сладостной чувственностью»* (14, с. 200). При этом, на мой взгляд, нет нужды, как делают иные исследователи, гадать о том, как далеко зашли отношения между ней и Гамлетом. В песнях безумной Офелии слышится не подтверждение их «греховной связи», а подсознательное желание девушки в отношениях с любимым. Но Гамлет, пораженный тем, что сладострастие сделало с его матерью, находит (насколько справедливо, это другой вопрос) проявление того же порока в Офелии и отвергает ее. Таким образом, любовь стала для принца как движущей силой, так и препятствием на его пути.

Власть

Борьба за датский престол нередко находится на периферии внимания исследователей Гамлета, хотя, например, авторы одной из работ, недавно вышедших на родине Шекспира, настаивают на важности учета специфики «полицейского государства», на фоне которого разворачивается трагедия [15]. Между тем принц еще до того, как узнал об убийстве отца, был недоволен тем, что дядя обошел его при наследовании трона. О том, насколько тяжело он переживал этот удар, можно понять по разговору с Горацио, когда Гамлет включил эту вину в число главных преступлений Клавдия:

*«Не долг ли мой – тому, кто погубил
Честь матери моей и жизнь отца,
Стал меж избраньем и моей надеждой,
С таким коварством удочку закинул
Мне самому, – не правое ли дело
Воздать, ему вот этою рукой?» (V, 2).*

Насколько оправданны претензии Гамлета на корону, если исходить не из права рождения, а из его личных качеств? В трагедии о них прямо говорит лишь Офелия, оплакивая, как она считает, впавшего в безумие принца:

*«О, что за гордый ум сражен! Вельможи,
Бойца, ученого – взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы,
Чекан изящества, зеркало вкуса,
Пример примерных – пал, пал до конца!» (III, 1).*

Слова и дела Гамлета характеризуют его, скорее, как человека, чем государя, хотя, по мере обострения борьбы с королем, он входит во вкус политики. Так, принц без всяких сожалений посылает на расправу приятелей по университету Гильденстерна и Розенкранца, утверждая, что *«их гибель // Их собственным вторженьем рождена»* (V, 2). В чем невозможно отказать Гамлету, так это в знании общественных и частных бедствий, в которых необходимо разбираться правителям всех времен. Он перечисляет их в самом знаменитом своем монологе, когда задается вопросом:

*«Кто снес бы плети и глумленья века,
Гнет сильного, насмешку гордеца,
Боль презренной любви, судей медливость,
Заносчивость властей и оскорбленья,
Чинимые безропотной заслуге...» (III, 1).*

Вдумываясь в эти слова, поневоле хочется узнать, когда и как этот еще

молодой человек королевской крови сумел так глубоко постичь несчастья обычных смертных и несправедливость общественного уклада. Здесь можно отчасти согласиться с критикой Л.Н. Толстого, который упрекал Шекспира в том, что он вкладывает «в уста Гамлета те речи, которые ему хочется высказать» [13, с. 248]. Не потому ли принц популярен среди простого народа, что хорошо знает его беды? Однако он не делает никаких усилий, чтобы склонить датчан поддержать его претензии на трон. Нельзя сказать, что Гамлет лишен воли к власти, но власть для него не высшая ценность, а наследство, которое должно достаться ему по праву.

Слава

На первый взгляд, у Гамлета нет желания личной славы. Даже такой знаток и ценитель Шекспира, как Гете, категорично заявлял о принце: «Честолюбие и властолюбие – страсти, ему не присущие» [14, с. 198]. Но Гамлет был сыном короля-воина, дорожившего своей славой. Хотя принц не отличается воинственностью отца, он очень «честолюбив», в чем признается Офелии (III, 1). А знавший его по университету Розенкранц в ответ на слова принца, что «Дания – тюрьма», говорит: «Ну, так это ваше честолюбие делает ее тюрьмой: она слишком тесна для вашего духа» (II, 2).

Как же тогда относиться к насмешкам Гамлета над великими людьми, в которые он пускается в разговоре с Горацио в сцене на кладбище? Исходя из того, какое зрелище представляли бы их тела теперь, принц, казалось бы, выносит приговор их суетному стремлению к славе:

*«Державный Цезарь, обращенный в тлен,
Пошел, быть может, на обмазку стен.
Персть, целый мир страшившая вокруг,
Платает щели против зимних вьюг!» (V, 1).*

Однако вряд ли в разговоре с Горацио, насмехаясь над Александром и Цезарем, Гамлет всерьез думал о них. Ранее, произнеся речь о красоте и величии человека, он неожиданно завершил ее словами: «А что для меня эта квинтэссенция праха?» (II, 2). Если исходить из предположения, что Гамлет говорил при этом не о человеке как таковом, но о своем отце, то и последняя фраза также должна быть отнесена к нему. Между тем из текста трагедии видно, что Гамлет, любивший своего отца, не мог на самом деле так думать о нем. Что же в таком случае побудило его свести сущность человека к праху?

Ответ на этот вопрос дается перед началом представления актеров. Принц указывает Офелии на то, «как радостно смотрит моя мать, а нет и двух часов, как умер мой отец». После слов девушки, что со смерти короля прошло уже «дважды два месяца», Гамлет притворно удивляется: «Так давно? Ну, так пусть дьявол носит черное, а я буду ходить в соболях. О небо! Умереть два месяца тому назад и все еще не быть забытым? Тогда есть надежда, что память о великом человеке может пережить его жизнь

на целых полгода ...» [III, 2]. Таким образом, в глазах Гамлета человека делает «прахом» не сама смерть, а забвение, прежде всего, самых близких его людей. А что измеряет славу человека, как не длительность памяти о нем?

Не удивительно, что в конце трагедии Гамлет, проявляя заботу о своем имени, запрещает Горацио принять яд и вменяет ему в долг: *«Поведай правду обо мне // Неутоленным»*, – и повторяет: *«Дыши в суровом мире, чтоб мою // Поведать повесть»* [V, 2]. Забота о добром имени, конечно, еще не означает, жажды личной славы. Но именно память о мести Амлета-Гамлета, которую прославили сказители и писатели, дала ему жизнь, которая длится вечно.

Честь

В трагедии о чести говорится сравнительно немного, но в неизменно положительном смысле. Первый раз Гамлет упоминает о ней при виде армии норвежцев, идущих в поход под командованием Фортинбраса. Размышляя о том, какая малая причина побуждает норвежского принца рисковать своей и их жизнью, Гамлет, однако, не без уважения к нему, произносит:

*«Истинно велик,
Кто не встревожен малою причиной,
Но вступит в ярый спор из-за былинки,
Когда задета честь»* (IV, 4).

В другой раз принц показательно реагирует на слова Лаэрта перед роковым поединком. Тот, скрывая за своей высокопарной тирадой намерение убить принца, говорит в ответ на его примирительное обращение:

*«...Но в вопросе чести
Я в стороне, и я не примирюсь,
Пока от старших судей строгой чести
Не получу пример и голос к миру,
В ограду имени»* (V, 2).

Не подозревающий обмана Гамлет обещает противнику «честно биться в братской схватке».

Понятие о чести у принца передано Шекспиром посредством сравнения героя с Лаэртом и Фортинбрасом, которые, как и Гамлет, желают отомстить за гибель своих отцов. В отличие от кипучей воинственности Фортинбраса и циничной неразборчивости Лаэрта, чувство чести Гамлета не приемлет ни насилия из молодецкой удали, ни достижения цели любыми средствами. Он ведет себя как рыцарь на ристалище, готовый ответить на любой вызов, но в рамках правил. Если вера в Бога, власть и слава оказывали на Гамлета опосредованное, а любовь – противоречивое влияние, то именно честь служила ему опорой, когда он сделал свой выбор.

И самым трудным для него был выбор между жизнью и смертью,

каждая из которых также представляет собой дилемму, чему посвящены размышления принца в самом знаменитом его монологе:

*«Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть –
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, – как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть!
И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность;
Какие сны приснятся в смертном сне,
Когда мы сбросим этот бранный шум...» (III, 1).*

Выбрать *быть* – значит встать перед вопросом *как быть*, решить для себя, чем ответить на вызовы жизни. Предпочесть *не быть* – это стать заложником того, что ждет после смерти: избавление от страданий или видение «снов», которые, быть может, ужаснее жизненных мук. И если на отказ принца от самоубийства повлияла его вера в Бога, то на путь борьбы со злом, а не смирения с ним его вывело и направляло, главным образом, чувство чести.

В конце трагедии, перед схваткой с Лаэртом, он признается Горацио, что чувствует тяжесть на сердце. Тот советует отложить поединок, но Гамлет отказывается: *«Если теперь, так, значит, не потом; если не потом, так, значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-нибудь; готовность – это все. Раз то, с чем мы расстаемся, принадлежит не нам, так не все ли равно – расстаться рано? Пусть будет» (V, 2)*. В этих словах можно найти проявление фатализма. Но, на мой взгляд, суть сказанного заключается не в *«пусть будет»*, а в *«готовность – это все»*. Человеку не дано знать, когда и как он умрет, достигнет ли своей цели или нет. От него зависит лишь быть ко всему готовым и достойно встретить любой поворот событий.

Можно ли в заключение сделать вывод о том, какой философии следовал Гамлет? А.А. Аникст полагал, что в конце трагедии «перед нами Гамлет, принявший философию стоицизма» [3, с. 617-618]. В этом есть доля истины, если иметь в виду не систему взглядов, а духовный настрой принца Датского. Философские раздумья Гамлета привели его к переосмыслению своей миссии, помогли возвыситься от «этики мести», требующей публичного наказания виновного, к «этике долга», побуждающей человека найти свое место в борьбе с «морем бедствий», которое грозит поглотить наш мир. В необходимости такого самоопределения, на мой взгляд, и состоит «доктрина Гамлета».

Библиография:

1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Кн. 1 // Гегель Г.В.Ф. Соч. в 14 тт. Т. 12. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1938. 472 с.
2. Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Соч. в 2 т. 2-е изд. Т.2. М.: Мысль, 1990. С. 582-625.
3. Аникст А. Гамлет, принц Датский // Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8 тт. Т. 6. М.: Искусство, 1960. С. 571-627.
4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М.: Мысль, 1998. 750 с.
5. Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон Ф. Соч. в 2 т. М.: Мысль, 1971. С. 85-546.
6. Флоренский П.А. Гамлет // Флоренский П.А. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1994. – С. 250-280.
7. Анненский И. Проблема Гамлета // Анненский И. Книги отражений. М.: Наука, 1979. С. 162-172.
8. Саксон Грамматик. Деяния датчан (Saxo Grammaticus. Gesta Danorum). Кн. 4. URL: http://ulfdalir.narod.ru/sources/Iceland-Scandinavia/Gesta_Danorum/book4.htm [Дата обращения – 28.04.2016].
9. Стеблин-Каменский М.И. Мир саги / Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Ленинград: Наука, 1984. С. 3-140.
10. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 57-157.
11. Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Пер. с нем. А.Ф. Зотова. М.: Республика, 1998. С. 363-391.
12. Кантор В.К. Гамлет как «христианский воин» // Вопросы философии. 2008, № 5. С. 32-46.
13. Карасев Л.В. Флейта Гамлета // Карасев Л.В. Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики. М.: Знак, 2009. С. 111-133.
14. Гете И.В. Годы учения Вильгельма Мейстера // Гете И.В. Соч. в 10 тт. Т.7. М.: Художественная литература, 1978. 526 с.
15. Critchley S., Webster J. The Hamlet Doctrine: Knowing Too Much, Doing Nothing. London – New York: Verso Books, 2013. 288 p.
16. Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. в 90 тт. Т. 35. М.: Художественная литература, 1950. С. 216-272.